

О крымских предках из Эстонии, елке 1937 года и отце

<http://oralhistory.ru/talks/orh-2066>

🎙 24 августа 2016

Собеседник

Алексеева Людмила Михайловна

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 24 августа 2016 и опубликована 29 марта 2019.

Введение

Первая беседа с правозащитницей Людмилой Алексеевой посвящена истории семьи и детству. Предки матери — эстонские переселенцы-протестанты, переехали в степной Крым в XVIII веке и жили обособленно в деревне Джурчи. Отец — из польско-еврейской семьи. В 1930 году мать Алексеевой переехала в Москву, где поступила в аспирантуру МГУ, а дочь отдала в детский сад при Университете, о котором у Алексеевой остались не лучшие воспоминания. Намного более приятное воспоминание — новогодняя елка 1937 года (первый Новый год в СССР с разрешенными елками) в рабочих бараках Останкино, где тогда жила семья Алексеевых. Первая беседа заканчивается воспоминаниями об отце.

О семье матери

Людмила Михайловна Алексеева: Ну, сначала про родителей.

Екатерина Андреевна Голицына: Про семью, про бабушку, про родителей.

Л. А.: Ну вот родители мои, и мама, и папа, оба из Крыма. Мама родилась в Джанкое. Это степной Крым. Такая последняя перевалочная железнодорожная станция. Если вы едете из Крыма на материк, так сказать, то Джанкой — и дальше уже... Ну, он почти у горлышка. Папа — в Евпатории. Такой детский курорт, довольно известный. Ну, какие у них родители — надо, нет?

Е. Г.: Про бабушку и дедушку — обязательно.

Л. А.: Ну да.

Е. Г.: Это интересно.

Л. А.: Ну, я лучше знаю мамину семью, поскольку воспитывала меня бабушка — мамина мама. Ну как... Ну, родители мои познакомились... Хотя вот они из разных городов крымских. Они познакомились, потому что оба они были студентами Симферопольского педагогического института. Мама на математическом отделении, а отец — даже не знаю, на каком, потому что он экономист по образованию, и у них такой был факультет или не было, — я не знаю. Педагогический институт. Причем вместе с экономикой. Может, он потом как-то кончал... Кстати сказать, в Ленинграде. Может быть, там как-то иначе назывался факультет. Не знаю. Вот, значит, но лучше я знаю мамину семью. Вообще очень интересно у обоих. Потому что родители у обоих не только разных национальностей, но и разных вероисповеданий. Что в то время, в XIX веке, когда, собственно, они поженились (и те, и другие дедушка и бабушка), было довольно редко. Ну вот у мамы мать — эстонка, отец — украинец. Вот эстонцы — почему в Крыму эстонцы? (Она родилась в Крыму.) Потому что во времена Екатерины, когда завоевали Крым, он был татарский. Крымские татары. И они были мусульмане. И их довольно так настойчиво стали обращать в православие. Из-за этого эти татары, которые не хотели менять религию, садились на лодки и уезжали целыми селениями, уезжали в Турцию — тоже мусульманскую страну. Это из степного Крыма. Потому что, ну, южное побережье — там курорты, а степной Крым — там землю возделывали. Это была именно татарская часть Крыма. И они уезжали так, что селения пустели. Богатая земля, а пустая. Все они сбежали. И Екатерина издала указ, что она пригласила в Крым как колонистов немцев и эстонцев, обещая, что кто переселится, получит большие наделы земли. И вот бабушкин дедушка — он был такой из бедноты такой эстонской безземельной. Их собралось несколько человек. Как бабушка говорила, из-под Ревеля. Тогда Таллин называли Ревелем. Они собрались. И, раз там будут давать землю, они решили переехать туда. Но они были такие бедные: у них не только земли, у них лошадей не было. И они посадили детей в тачки и пешком, везя детей в тачках, пошли из-под Ревеля в Крым. Шли они, как рассказывала бабушка, три месяца. Но, когда они пришли... (По-моему, шесть семей.) Когда они пришли, им действительно выдали вот приличные наделы земли вот в этом степном Крыму, и они все поселились на месте опустевшей татарской деревни Джурчи. И они ее не переименовывали. Она стала эстонская, но она так и называлась Джурчи. Бабушка родилась в эстонской деревне Джурчи, в степном Крыму. Очень интересно то, что там несколько лет назад мне вдруг почему-то надумали дать эстонский орден. Я поехала в Эстонию его получать, и ко мне там подошел местный краевед и говорит: «Вот я знаю, что вы, что вот от эстонских этих колонистов... Я действительно знаю, переселялись, вот там...» И говорит: «Вот, ехали...» Но он рассказывал все о тех, у кого были лошади. А не было лошади. Я говорю: «Вы знаете, нет. Мне бабушка говорила, что ее дедушка пешком шел и вместе они шли». Он так обрадовался, этот краевед. Он даже за сердце схватился! Говорит: «Я знаю! Была такая одна партия, которая пошл[а] пешком. Я знаю! Это было!» Ну и я знаю — мне бабушка рассказывала. Вот, то есть это единственные были колонисты, которые пришли пешком. Остальные все все-таки на лошадях. Они из самой-самой бедноты.

Е. Г.: Потрясающе.

Л. А.: И бабушка... Да, у них были большие наделы земельные, и надо сказать, что они... Бабушка говорила: «Мы батраков не держали». Работали сами. У бабушки было... Значит, отец работал. Два брата у нее было и кроме нее еще две сестры. Вот, значит, пятеро детей. У бабушки мать умерла, когда ей было три года, следующими родами, и отец вскоре женился на немке, потому что в Крыму были не только эстонские, но и немецкие колонисты. Но у них была эстонская деревня. Значит, он из другой деревни взял, из немецкой. Бабушка про эту деревню рассказывала с гордостью. «У нас, — говорит, — были кирпичные дома с крашеными деревянными полами, с городской мебелью, хотя крестьянские дома». И, значит, мощные улицы и тротуары — уж не знаю, из чего. Но она говорила: «И у нас было принято — вот перед домом в обе стороны до других соседей надо было мыть тротуары и мостовую, и мыли с мылом».

Е. Г.: Потрясающе.

Л. А.: Не просто водой, а с мылом! Так же, как дом. Так же убирали перед домом. Ну вот, это она рассказывала про эти свои Джурчи. И у них был пастор, естественно. Это лютеране они были.

Е. Г.: Имя бабушки произнесите.

Л. А.: Да, вот ее называли, конечно, как положено. Ее имя было Анетта Мариетта Розалия Яановна Синберг. По-эстонски Синберг — это «умная гора». Если на русский переводить. Вот. Да, значит, мебель городская, и мать, то есть мачеха, — немка. Мать свою она не помнила. Ну, ей три года было, когда она умерла. Но она была такая... Для нее отец купил пианино. Ну, я не знаю, она тоже работала в поле, но и при этом играла на пианино... Не знаю. Но вот было пианино у мачехи. Но она была не такая мачеха классическая, чтобы там совсем обижать, но теплоты, по-видимому, не было, потому что бабушка говорит, что она очень хотела... Думала: «Вот выйду замуж за первого, кто посватается, лишь бы из дому уйти от мачехи». Отец не обращал внимания, а мачеха, ну, не то что бы притесняла, но вот любви не было. Вот, и говорила она... Да, она окончила четыре класса школы при лютеранской церкви — все ее образование. А братья — вот я их видела. Они приезжали до войны, у нас останавливались там со своими женами. Эдуард и Александр. И они кончили реальное училище. И не знаю, что еще, потому что оба они были инженеры, работали на шахтах в Донбассе. Ну, тогда инженер — это еще до революции было, они старшие бабушки были. Они... Ну, тогда, она говорит, инженеры — это были господа. У них выезд, значит, лошады

с каретой. И горничная, и все как полагается. Вот так это было. Они как господа жили. Но это когда выросли. Они уже не крестьяне были, когда выросли. Они учились и ушли из дома. А бабушка — вот четыре класса, и всё. Вот старшая ее сестра, тетя Юля, — я ее тоже видела. Она потом вышла замуж за учителя и тоже где-то, из деревни Джурчи уехала. Но она кончила... И она, и средняя сестра Поля — они кончили школу Машкова. Это была такая... Я не знаю, в Симферополе или в Севастополе. Такая школа для девочек, но это все-таки какое-то образование, это не четыре класса приходской школы. Но они были старше. У них еще мама была. А это уже мачеха. У нее кончила четыре класса — и ладно.

Ну, надо сказать, что бабушка не производила впечатление темной женщины. Она как-то... Не знаю. Умная была женщина и такая, надо сказать, довольно властная. Вот, и она говорит, что до девятнадцати лет, до того, как она вышла замуж, она говорила по-эстонски, других языков не знала. Эстонская деревня — все по-эстонски говорят. Кстати сказать, ее братья, вот инженеры, они женились на институтках, и, когда они к нам приезжали (ну, я уже помню это), они с женами приезжали, их жены говорили по-эстонски, и с бабушкой они говорили по-эстонски.

” И бабушка разговаривает с ними, разговаривает, потом вбежит в комнату и говорит: «Ой! Я язык толком не помню! Я понимаю, что они говорят, но отвечать я им... Я отвечаю им не то, что я б хотела ответить, а то, что я могу ответить по-эстонски».

Понимаете, как забыла язык? Почему? Потому что вышла замуж за Афанасия Петровича Ефименко. Уж как они договорились, я не знаю, потому что он по-эстонски не говорил. Ну вот. Он такой. Он из крестьян Харьковской губернии. Ну и, по-видимому, тоже из небогатых, потому что его, как Ваньку Жукова, отдали в люди, в обучение. Отдали в обучение в Джанкой к владельцу... Ну, какая-то лавка или магазин, не знаю. Там, ну, такое, ткани продавали, всякие такие вещи. Армянин, армянская семья. У него у самого, у этого армянина было пятеро детей. И взяли вот Афанасия Петровича. Ну, мальчиком взяли. И он... Но только, в отличие от Ваньки Жукова, его не обижали в этой семье. Семья была хорошая. Он рос в семье вместе с детьми. Только, в отличие от детей, его обучали в лавке или там в этом магазине, вот, и он вырос... Да, он говорил по-армянски, как по-русски, потому что он рос в армянской семье, где по-армянски говорили, и дети, с которыми он вместе рос, тоже по-армянски говорили. Ну, когда он вырос, он стал, значит, приказчиком в этом магазине и таким доверенным лицом своего хозяина. Вот, его отправляли... Значит, нагружали, ну, не знаю там телега или бричка, что там. Нагружали вещами всякими из магазина, товарами, и он отправлялся по степному Крыму в городки, деревни торговать, причем ведь там же не было фиксированных цен. Вот торгуются, и он продает, за сколько удалось продать, и потом приезжает и, значит, хозяину объясняет: вот это я продал за столько-то, за столько-то. И отдает выручку. Значит, было полное доверие, раз его отправляли с товаром, потом получали выручку и отчет. Вот. Ну и вот он, путешествуя с этими как коробейник такой, но на лошади, пригладел девятнадцатилетнюю бабушку, и как уж они договорились, я не знаю, но он ей объяснил, что он бы не прочь на ней жениться, а она хотела уйти из дому. (Она: «Кто возьмет, значит, за того пойду»). И он пришел к ее отцу. Это она мне рассказывала не раз, что надо же было разрешение отца спросить. Значит, вот хочу жениться. И отец сказал: «А она согласна?» «Она согласна». Отец сказал: «Ну, я не против, но ты имей в виду: она бесприданница». Это было... Ну, за Юлей и за Полиной отдавали приданое. А тут уже мачеха. Он сказал: «Она бесприданница». И бабушка с такой гордостью говорила: «А он сказал: „А мне, кроме самой вот этой Анетты, ничего не надо“». Отец сказал: «Ну, тогда хорошо». И, как бабушка рассказывала, «мы взяли за руки и ушли». Причем встал вопрос: он православный, она лютеранка. Тогда не было, чтобы расписываться в ЗАГСе. Тогда надо было в церкви венчаться. Надо сказать, что Афанасий Петрович в этом отношении был человек для XIX века удивительный, потому что он сказал: «Да мне все равно. Я могу и в лютеранство перейти. Но у меня мама очень верующая, она огорчится». А бабушка сказала: «Да мне все равно. Я в православие перейду». Ну, она же решила за первого выходить замуж. Значит, перейдет. Тем более что все-таки христианство же, не мусульманство, не иудейство, да? Вот, и они венчались в православной церкви. Ну и, как только она вышла замуж, она перестала быть Анеттой Мариеттой Розалией. Она стала Анной Ивановной Ефименко.

Вот, на моей памяти в Останкино, где мы жили, когда маленькая была, соседки называли ее Иванна. Так что она из такой пышной превратилась в Иванну. Вот, и надо сказать, что действительно она как-то к религии относилась без особого... Она не была там атеистка, богоборка, ничего, просто так. И Афанасий Петрович... Она рассказывала, что Афанасий Петрович ходил в церковь раз в году — на Пасху, потому что ему очень нравилось пасхальное пение. И он ходил в церковь на Пасху. И она, бабушка, мне рассказывала, что какой-то там их сосед говорил: «Вот Афанасий Петрович, странное дело: как я вас в церкви увижу, так всё „Христос воскрес“ поют». Потому что он его в церкви раз в год видел. Но бабушка сама... Вот я знаю, она в православие перешла... Детей она — мне и мама говорила, и бабушка говорила, что детей она отправляла в воскресную вечернюю школу. «В воскресную школу идите обязательно!» И, как она мне объясняла, потом все говорили: «Вот, она на самом деле лютеранка, поэтому она и детей...» Потому что тогда полагалось, чтоб дети. Но сама же рассказывала, что вот Пасха, готовит, значит, как все там куличи, пасху, но полагается же святить. Но оно же вкусное, когда вот только свеженькое, из печи. Поэтому один кулич съедали сразу, а те оставляли святить, значит, уже носили в церковь святить. Вот, и она тоже... Из бабушкиных рассказов, что, значит, священник ходил по домам, ну, перед Пасхой, святил. И говорит: «Один раз только мы сели за стол, с удовольствием там чай с куличом — и тут он приходит! Я, — говорит, — скорее вот, — говорит, — скатерть вот так накрыла... Он, конечно, видел, но, — говорит, — вежливо сделал вид, что не видит». Потому что, как бабушка говорила, «эти православные священники — им только лишь бы в карман положить. Вот наши пасторы не так. Вот у нас так было, что с каждого хозяйства сколько-то полагается давать в церковь. И все. Это зарплата пастора и это церковные расходы. Вот, что бы он ни делал там: венчание, отпевание, просто какая-то служба по просьбе — все бесплатно. У пастора зарплата, которую ему платят вот с каждого двора». И говорит: «Если нашему пастору предложить деньги, он бы оскорбился. А тут — сунь в карман...» Вот, и она говорила: «Эти попы...» В общем, та еще семья была в этом отношении. Вот.

Но семья, в которой говорили по-русски, потому что он не знал эстонского, а украинский — ну, во-первых, он был из Харьковской губернии, там многие по-русски говорят, а во-вторых, Джанкой был очень многонациональным городом. Там вот хозяин этого Афанасия Петровича был армянин. Потом у них болгары, греки, караимы, евреи, татары, естественно, в общем, всего-всего-всего, и поэтому язык общения в Джанкое был русский. Между собой люди говорили на русском.

Все знали русский горожане. Вот, и поэтому мама выросла в семье, где говорили по-русски. Мама не знала никаких других... Ну, потом уже учила там французский и все, но с детства знала только русский. Хотя украинец и эстонка — все равно русскоязычная семья. Дети говорили только по-русски.

О семье отца

И у отца тоже такая же семья была, потому что там еще более странное сочетание для того времени. Бабушка — еврейка, и дедушка — поляк. Это вообще не принято было. Но там... Вот это мне тоже рассказывала эта моя бабушка. Уж откуда она знала, я не знаю. Но это я от бабушки этой, Анны Ивановны, знаю, историю этого семейства. Не отец. Отец мне никогда не рассказывал. Вот, это в Польше было, под Варшавой, и бабушка эта, как я знаю, вот мать моего папы, — Любовь Григорьевна. Конечно, она не Любовь Григорьевна, у нее какое-то еврейское имя и еврейское отчество, но какое — я не знаю, потому что ее все звали Любовь Григорьевна, а мне в голову не пришло спрашивать, какое настоящее имя. Я думала, оно такое и есть. А дедушка — Лева. Но он, наверное, тоже Лео или как там по-польски. Не знаю. Но я-то уже знала их здесь. Оба говорили по-русски. Такая же история. Потому что вот Польша... Отец этой Любви Григорьевны — у него была маленькая типография, но не еврейская, а польская. Он, по-видимому, был выкrest, я думаю. Почему польская типография. Ну, этого я не знаю. Но, значит, маленькая типография, и у него был один... Он сам работал в типографии, и у него был один работник, наборщик. Вот дедушка Лева. Надо сказать, что я его помню, дедушку Леву, потому что жили они в Евпатории и меня, конечно, летом отправляли к бабушке и дедушке на море. Вот, поляки, говорят, такие, знаете, ну, гордые, с гонором, все такое. Ничего подобного! Тихий-тихий, скромный-скромный.

А бабушка, наоборот, очень такая шумная и вообще та еще. Видно было. Хотя я ее помню — уже немолодая, но она была... Она даже в старости была очень красивая, и, когда ей было... Вот это из рассказа бабушки. Когда ей было шестнадцать лет, то она сбежала из дому с каким-то там не то уланом, не то гусаром, с каким-то военным, не евреем. Но, к счастью, через какое-то время, имея ребеночка, вернулась обратно. Так ее гусар ее бросил. Ну, после этого никто бы из приличных евреев на ней не женился, и, по-видимому, поэтому ее папа решил ее все-таки, дочку, пристроить и, конечно, положил глаз на дедушку Леву. Дедушка Лева на ней женился. Ну, может быть, даже она ему при этом нравилась, потому что была красивая девочка. Но он, правда, поставил одно условие, дедушка: что она перейдет в католичество, он в иудейство переходить не будет. Ну, делать нечего. Такой дать подпорченный товар надо было. Пускай переходит. Значит, они венчались в католической церкви. После этого отец Любви Григорьевны дал им деньги и сказал: «Уезжайте куда-нибудь, где никто не знает этой истории». И они уехали в Евпаторию, и там никто ничего не знал. Откуда все это знала моя бабушка, я не знаю. Не исключаю, что Любовь Григорьевна ей сама и рассказала. Ну не дедушка же Лева. Вот.

И они приехали в Евпаторию и тоже говорили, и тот, и другой, по-русски. Почему? Потому что никто в Евпатории ни по-польски... Нет, евреев в Евпатории хватало, но они не были, ну, как сказать, в еврейской общине. Они как-то со всеми. Ну, Евпатория тоже была таким довольно смешанным городом. В Крыму все города были такие. Там кого только не было. Караимы еще. Еще караимы там были. Вот. Ну и поэтому отец вырос в семье, где тоже говорили по-русски. Отец ни идиша, ни польского не знал. Вот, и их было — отец старший, у него был брат, дядя Боря, и сестра, тетя Мура. И это была такая очень интересная семья, потому что дедушка, он ходил... Ему полагались там какие-то сатиновые или холщовые брюки, рубашечка. Мальчишки — им с апреля до октября, все теплое время года, полагались только трусы. Никаких там у них ни ботинок, ничего сверху не было. Но девочку одевали, тетю Муру. Но зато бабушка всегда была одета по последней моде. Хотя она ни дня не работала. Но она одевалась, садилась около крыльца, и, значит, все соседи видели, что на ней модная юбка, модная блузка, модная шаль и так далее. Вот такая... У них так было принято. Вот, и она никогда не работала, а при этом сама же мне рассказывала... Вот эта другая бабушка, она мне сама говорила: «Ой! Я так крепко сплю и сейчас, а молодая — тем более! Что, когда плакал ребенок, я не слыхала!» Поэтому вставал Лёваце, как она его называла, Лёваце. Он вставал, брал ребеночка, приносил к спящей матери, подносил к груди и сидел смотрел, чтобы она его не задавила во сне, ребенка. И покормит, положит, а она не просыпается. Она сама мне рассказывала. Вот такая очень цельная женщина была, такая на себе сосредоточенная, и как-то все радости жизни при ней. Но я думаю, что дедушка Лева ее по-своему любил. Хоть вроде и была... Но дело в том, что, конечно, он видел красивую девочку, а ему... Как вот так — чтоб еврейская девочка вышла замуж за поляка? Даже и думать нечего. А тут вдруг... Понимаете? Может быть, он и доволен был. Кто его знает? Что так получилось. Ну, во всяком случае, вот такая интересная семья. Вот.

О семье родителей

Так что родители оба были русскоязычные, и, когда они познакомились, потому что они учились в одном вот пединституте в Симферопольском, и это уже было советское время, и они, ну, из очень бедной семьи. Дедушка вот Афанасий Петрович... Ну, пока он был жив, они жили хорошо. Но он умер в 13-м году. А в 13-м году... Ведь Первая мировая война в 1914 году, Гражданская, советская власть со всеми ее прелестями... Так что сами понимаете. А бабушка осталась с тремя детьми. Мама старшая, у нее еще сестра Женя и брат Петя. Она ни одного дня не работала. Но надо сказать, что этот вот хозяин, вот армянин этот, он, когда дедушка умер, он взял бабушку в этот магазин кассиршей. Ну, хороший человек, видно, был. Просто вот понимал, что она осталась с тремя детьми в тяжелое время. Но сколько она там зарабатывала? И они, ну, вплоть до голодности. Даже голодные были — так бедно жили. Так что оба были из бедных семей, и тут и Гражданская война, и все такое... Они, конечно, оба в комсомол, и они были не только в одном институте, а в комсомольском клубе. Там были правила такие, в этом комсомольском клубе: вот если ты не на учебе, ты в клубе. И в клубе или они ходят там работать (вот, восстанавливать там все надо было после Гражданской войны), или они там поют. Это еще я знаю, потому что вот почему-то мамин день рождения я не помню, чтоб отмечали, а отца день рождения отмечали. У него день рождения был под ноябрьские праздники, и поэтому отмечали вот 7-е и 8-е, так 7-го на демонстрацию, а 8-го приходили гости — свободный день. И вот застолье, а потом... А какие у них знакомые? Ну вот это уже в Останкино, когда я помню. Это были все люди, которые перебрались в Москву из Крыма. Вот я знаю такой дядя Ерванд, армянин, и у него жена русская, Аня Лескова. Ну, еще какие-то там. Вот такие. Ну, кого они знали там, вместе учились. Я не знаю, откуда-то там из Крыма у них знакомства.

Вот они за столом. Ну вот, песни. (Поет.) «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте!» Вот такие песни пели. Но, правда, один раз, я помню... Это ни каком не на дне рождения, а в свободный день. Тогда не воскресенья были, а пятидневка была. Ну вот, значит, пять дней работают, шестой отдыхают. Так мама подметает пол в свободный день, и я слышу (поет): «Здравствуй, моя Мурка!» (Смеются.) Она там у себя под нос... Вот, потому что как-то нормальных песен тогда не было. Вот или такие, или такие. Ну, вот здесь они пели вот такую вот... Никакой там «среди долины ровной», ничего этого не было. А вот советские такие очень выдержанные песни. Но вот, правда, что я уже сообразила уже совсем взрослой, даже старой: вот у нас дома не только культа Сталина не было, а по-видимому, родители его просто... Ну, он им не шибко нравился. Потому что никогда со мной об этом не говорили вообще. Я вообще не помню, чтобы его имя дома произносилось. Но над письменным столом, за которым работал отец, у него висел портрет Ленина, а у меня в комнате — мне купили портрет того же Ленина, кудрявого мальчика. Правда, и про Ленина никогда не говорили. Но вот это вот такое... Ну, тогда фронда была такая: вот Ленин все делал правильно, а Сталин не туда повернул. Я думаю, что они вот так вот были... Хотя мне никогда ничего ведь про это не говорили.

О своем имени. Детский сад МГУ

Е. Г.: Но они были искренние комсомольцы?

Л. А.: Конечно! Нет, они вообще были... У меня было очень советское воспитание, очень советское. Мне выписывали эту, «Пионерскую правду». Ну, в общем, все так было. Это было очень... Но они очень много работали оба. Вот, да, вот я родилась в 1927 году...

Е. Г.: В Евпатории.

Л. А.: Почему в Евпатории? Потому что мама уже как раз в этот год закончила институт в Симферополе, но у нее, значит, мать в Джанкое, а родители мужа в Евпатории, и она поехала рожать в Евпаторию. Ну, я не знаю, почему не к своей матери, а к его родителям, но она приехала специально. А, это было лето, каникулы, и отец, конечно, в Евпатории. Ну, раз занятия кончились, он... И она поехала в Евпаторию рожать, потому что папа был в Евпатории, естественно. И еще — это мне мама рассказывала — как я Людмилой стала. Значит, ну, тогда же не знали заранее, мальчик или девочка, но вот родилась девочка. Она в роддоме. Ну, июль месяц, жарко, окна открыты, и это первый этаж, и молодые папы, они не ходили в приемную — они просто лазили в окна, чтобы посмотреть на ребеночка и повидаться с женой. Вот отец влез так в окно. Ну вот дочка, дочка.



Как назовем? У матери томик Пушкина лежит. Он говорит: «Как назовем?» Открыл — а попался «Руслан и Людмила». «О, назовем Людмилой!»

Е. Г.: Прекрасно!

Л. А.: Так я стала Людмилой. Прямо с легкой руки Пушкина. Могла так же оказаться Татьяной. Или Ольгой. Понимаете? А вот оказалась Людмилой.

Е. Г.: Здорово.

Л. А.: Да. Вот. Ну имя как имя. Так у меня, если по крови судить, ни одной капли русской крови, а имя-то старорусское. Но... А вот еще. Отец не вернулся с фронта. Ну он в 1941 году...

Е. Г.: Подождите, Людмила Михайловна, вы сразу прыгнули далеко.

Л. А.: Нет, я к чему это говорю? Что, когда мне исполнилось шестнадцать лет, уже было ясно... Шестнадцать лет — это значит 46-й год. Сразу после войны уже ясно — не пришел. Мы с 43-го года письма имели. И поэтому я хотела... Я говорю... А тогда национальность можно было — вот если родители разной национальности, то можно было выбирать национальность отца или национальность матери. Вот, и я решила, что я возьму национальность отца. Поляки — это вообще за границей. Значит, еврей. Я и говорю маме: «Мама, я запишусь еврейкой». А мне мама и говорит: «Не получится». — «Почему?» — «Потому что у тебя в метрике записано: „Мать — Валентина Афанасьевна Ефименко, русская. Отец — Михаил Львович Славинский, русский“. Почему? В 27-м году выдавали паспорта, до этого паспортов не было. И у них уже был роман, и они вдвоем обсуждали, какую взять национальность. Ну, не эстонка для нее, не поляк для него. Даже мысли не было, потому что это была граница. Значит, он мог записаться евреем, а она могла записаться украинкой. Но она говорит: «Какая я украинка? Я по-украински не говорю и никогда в Украине не жила». А он говорит: «Какой я еврей?» В общем, они решили... А тогда записывали — вот как скажет человек, так его и записывают. И они оба решили между собой, что запишутся «русские». Причем тогда этого не было, что вот русский — как вот после войны было. А просто они себя так... Решили, что так будет правильнее. И поэтому она говорит: «Как ты запишешься еврейкой, если у тебя в метрике написано, что мы оба русские?» И все, и я оказалась русская. Но, между прочим, это вполне соответствует моему самоопределению, потому что если человек — квартиранец, то, естественно, по культуре, а не по крови. Так что Людмила Михайловна Алексеева — никому в голову не придет думать, что я не русская, а я и есть русская. И в метрике записано, что даже родители русские, не только я. Хотя вот так вот.

Е. Г.: Интересная история семьи вашей.

Л. А.: Да. Вот, а потом, значит...

Е. Г.: Вы долго жили в Евпатории в раннем детстве?

Л. А.: Нет, я вообще не жила. Кончились каникулы, мама уехала в Симферополь. Потому что она как раз в этом году кончила институт, и ее распределили учительницей математики в какую-то там школу в Симферополе, и она сняла комнату, взяла

меня и приехала в Симферополь. А вот тут... Я не знаю, почему, но отец еще год учился, причем не в Симферополе, а уехал в Ленинград и закончил в институте Герцена в Ленинграде, и дальше считался экономистом. На каком факультете он был здесь, почему он на год позже... Он не должен был на год позже матери... Они одного года рождения были. Или он переучен как-то так... Не знаю, для чего. Вот почему он этот год в Ленинграде учился, не знаю. И почему он как экономист... Не могло в педагогическом институте быть специальности «экономист». Это, видно, по Герцена он экономист. Может, он там как-то переучивался... В это время, знаете, это были пятилетки, нужны были всякие там инженеры, экономисты, то-се. Может, он переучивался. Я не знаю, в чем дело. Но, когда вот три года мама отработала, как положено (тогда же положено было три года отработывать за бесплатное обучение)... Она отработала в 30-м году. Она подала документы в МГУ на физико-математический факультет в аспирантуру и была принята. Или там допущена к экзаменам. Я не знаю. Короче говоря, она взяла меня и приехала в 30-м году в Москву. Одна, без папы и без бабушки, со мною. Она поступила в аспирантуру в МГУ. МГУ тогда было — все на Моховой. Этого еще не было. И, так как она должна была, ну, она не могла со мной сидеть, она в аспирантуре была, то она меня отдала в детский садик МГУ. Вот в какой-то раз там какое-то «летие» МГУ было, и в какой-то компании Александр Аузан, который сейчас декан экономического факультета МГУ. Он сказал: «Вот подымите руки, кто дольше всех связан с МГУ?» Я сразу подняла руку. Он говорит: «Ну да, конечно! Вы старше нас!» Я говорю: «Нет, я с трех лет связана с МГУ. Я была в детском садике МГУ и жила в общежитии МГУ на Стромынке с мамой, потому что ей там дали место». У нас было аспирантское общежитие. Значит, было в комнате — она и такая Таня Батурина. У Тани Батуриной было двое детей. Один такой — года три, наверное, а другой, ну, маленький совсем, и поэтому ее мама, какая-то деревенская старушка такая, сидела с этими детьми, а Таня Батурина училась в аспирантуре. И, значит, мама со мною. Вот я была в детском саду на пятидневке. Тогда был такой детский сад. Значит, пять дней я там, а на выходной мама меня забирает на Стромынку. И как кончилось все это дело с детским садом? Я ничего про детский сад не помню, кроме одного: что мы ходили гулять в Александровский садик. Я помню эту огромную кремлевскую стену, и меня поразило, что один раз я видела, как вот между этими вот раструбами там, сверху кремлевской стены, там, по-видимому, какие-то мостки проложены, потому что шли два человека. И я так смотрю: как это они идут между вот этими вот... Я никогда, между прочим, потом не видела, чтобы там люди ходили. И можно ли там ходить? Вот тогда можно было. Они так шли уверенно, так длинное расстояние прошли, не то что в одном месте стояли. Вот, так вот, в этом детском саду я чего-то такое... Не знаю, чего-то сделала, за что меня наказали. А наказали меня так: заперли в комнате в темной, и я очень боялась, и я редела, стучала кулачками в дверь, потом устала стучать, никто не приходит, не обращает внимания, и я тут же, около двери, уснула. А мама — у нее какое-то там комсомольское собрание было в этот день, и она говорит... Это она потом рассказывает, что она... Вот середина недели — меня вроде не полагается еще забирать, а вот она сидит — и ей беспокойно. Ну что такое? Вот, и она говорит, что, когда собрание кончилось, она побежала в детский сад и решила меня забрать в середине недели. Может, в следующий день у нее ничего не было — я не знаю. И она когда пришла — и воспитательница, ну, так смутилась, но открыла дверь, а я сплю здесь около двери на полу в темной комнате. И мама меня схватила и сказала, что больше в этот детский сад девочку не отдам. И она написала маме, чтоб та приезжала, и после этого вот в этой комнате, где Тани Батуриной ребенка сторожила ее мама, поселилась еще и моя бабушка, меня смотрела, потому что меня больше не отдавали в детский сад. И надо сказать, что у меня антипатия к детским садам осталась на все время. Потом несколько раз пытались отдать меня в детский сад, но я так редела и так сопротивлялась, что больше одного дня я... Меня забирали в первый же день, и я оставалась дома. Так я и выросла у бабушки. В детских садах больше не была. Вот.



Людмила Алексеева в дошкольном возрасте. Архив Л. Алексеевой

Вот мы так жили 30-й год вот в этой, на Стромынке, в этой комнате, а тут отец кончил как раз вот этот уже институт Герцена и приехал в Москву. Он устроился на работу, и сначала он жил в общежитии. Там где-то и мама жила, в общежитии в другом. А потом он все-таки получил... Вот он устроился работать — называлось Центросоюз.

Е. Г.: Это что такое?

Л. А.: Это такая организация, которая занималась налаживанием торговли между городом и деревней. Не знаю, чего они там делали. Вот. Было все это, между прочим, в Черкасском переулке, около Лубянки. Откуда я это знаю, я не знаю. Вот, и вот ему дали две комнаты в общей квартире в Останкино, и мы туда переехали в 31-м году. Вот я год на Стромынке прожила. А потом мы довольно быстро переехали. Вот, это было вот... Между прочим, я до сих пор помню оба адреса и тот адрес, где я жила в Симферополе до трех лет. Почему? Потому что, ну, детей учили запоминать адрес, потому что, если я потеряюсь, если я уйду или там чего, чтоб я знала адрес. И я запомнила. Улица Декабристов, дом двадцать пять. Я совершенно этого места не помню. Я только помню, что была очень большая комната. Ну, наверно, она маленькой девочке казалась большая. И она была абсолютно пустая. В ней стоял такой кухонный столик. Вот тогда были такие столики. Ну как сказать? Вот у него не ножки были, а дверцы здесь. Там можно было какую-то посуду поставить. Вот такие открывающиеся. Вот небольшой был такой. Ну, как две тумбочки, вот так скажем. Смесь. И все. И, когда я сказала маме, что вот у меня есть, она говорит: «Слушай, а так и было! Вот, — говорит, — когда я сняла эту комнату, вот здесь стоял этот столик. Потом еще был матрас, на котором я спала». Но это не кровать была, а именно матрас. А, говорит, когда она сняла комнату, то мне не покупали никакую там кровать, ничего, а купили большую бельевую корзину. И ее поставили на этот стол. И вот в этой корзине... Это была моя кровать. «Вот, — говорит, — но потом, конечно, уже была не корзина, а этот стол использовался как стол». Ну да, был вот этот столик.

Значит, отец долго учился. Потому что вот в этом... Значит, не год учился. Потому что он с нами в Симферополе не жил. Он учился в Ленинграде. Может, он переучивался. Я не знаю, в чем дело. Потому что диплом у него был не Симферопольского, а вот Ленинградского имени Герцена. Да, наверно, он три года там учился. Потому что, когда мама приехала, он приехал в Москву. Он кончил, да.

Е. Г.: Вы поселились в Останкино.

Л. А.: Да, там был этот... И этот адрес. Да, вот, между прочим, крымский адрес. Меня несколько лет назад крымские татары, Мустафа Джемилев (можно сказать, мой друг), они пригласили правозащитников еще советского времени, которые им помогали в те годы. Они пригласили к себе на 18 мая — день высылки крымских татар. Они отмечают этот день. Отовсюду приезжают крымские татары, где бы они ни жили. Ну, многие из них в Крым перебрались. Они со всех городов приезжают. Но приезжают и... Некоторые остались на местах высылки. Они приезжают там из Узбекистана, из Казахстана, отовсюду. И потом, например, была колонна из Болгарии. Там тоже крымские татары, но они... Целая колонна, и они пришли. Крымские татары из Болгарии. Вот, и да, такая большая площадь в Симферополе. Вся площадь, значит... Стоят крымские татары, а в гостинице, где мы остановились, там такой балкон, выходящий на эту площадь. Вот там Мустафа Джемилев, потом там глава межджлиса крымско-татарского, ну, всякие, значит, лидеры, и они там произносят речи, и мы обращаемся к ним, и они стоят под палящим солнцем прямо несколько часов. Как они выдерживают? Так я когда ехала туда, ну, присылали машину за нами, ну, в аэропорт, чтобы нас встретить, значит, и я говорю этому, который, ну, какой-то крымский татарин, у которого машина, приехал встречать, и я говорю: «А вот я жила три года в Симферополе и даже адрес помню: улица Декабристов, дом двадцать пять». И они мне так вдруг говорят: «А хотите поехать посмотреть на этот дом?» Я говорю: «Хочу». Они дали машину, чтоб я поехала. Я поехала на эту улицу Декабристов. Я только помню, что одноэтажный дом, больше ничего не помню. Мы поехали на эту улицу. На улице Декабристов есть дома до семнадцатого, а дальше построили стадион и дома снесли. Так что двадцать пятого дома не существует. Вот.

Переезд в Останкино

А здесь тоже я помню адрес, тоже вбили в голову. Третья Новоостанкинская, дом тринадцать-тридцать, квартира три. До сих пор помню. Вот. Это на первом этаже. Эти дома... Значит, двор, и во дворе два двухэтажных барака. Один — вот этот тринадцать-тридцать, другой — пятнадцать. И зади за этими домами сарай, потому что печное отопление — там дрова надо было хранить. Колонка... У нас не колодец, а колонка была. Она во дворе. Но надо было со двора приносить воду в ведрах. Двор у нас был очень хороший: такой весь заросший — трава, одуванчики там всякие. И мы как-то жили... Вот дети с этих двух домов — как-то мы составляли такую дворовую компанию. Эти вот бараки — это было завода «Калибр». И там жили, ну, завода «Калибр» явно не директора, а рабочие. Вот. И надо сказать, что моя семья была довольно необычной для всех остальных, потому что там в большинстве и папы, и мамы работают на заводе. Ну, там бабушки с детьми, у некоторых мамы сидят дома. Вот, но все они... Знаете, значит, перед выходным мужчины напиваются и некоторые буянят и норовят побить жен и детей, и поэтому к нам бегали спасаться, потому что у нас ничего похожего не было. Чтобы такое было... У нас все было очень... Хотя они оба, что называется, получили образование первые в своем... И отец, и мать, но они себя вели как интеллигентные люди. Чтобы отец не то что там руку поднял на меня или на мать, чтобы он там... Чтобы они ссорились там, кричали между собой или с бабушкой — так никогда не было. Никогда! То есть, наверно, они ссорились. Но они там в своей комнате тихонько, чтоб ни я, ни бабушка об этом не знали. Я никогда не видела этого! И по отношению к бабушке... Ну, мама вообще. Мама у меня такая тихая и интроверт, а бабушка довольно властная женщина. И она так все время: «Мамочка, мамочка, мамочка...» Вот так. А отец — «Анна Ивановна», «вы», но чтоб когда-нибудь не то что грубое слово, а ну как-то... Ну ничего похожего не было. Абсолютно. Никогда!

Вот, и надо сказать, что я... Да, и бабушка, бабушка, вот она, ну, со своими, знаете... Как она мне рассказывала, протестантские привычки. Она говорила: «Вот у нас...» Например, так. То есть, конечно, можно там, когда есть свободное время встретиться с подругами, разговаривать и все. При этом надо что-то делать. Надо или вязать, или вышивать, или там чего-нибудь подшивать. Не просто сидеть и разговаривать — что это такое? Ну, и поэтому вот этот принцип — как утром встал и до вечера надо обязательно что-то делать — у нее это сохранилось. И она как-то вот... Вот она как — плита, на плите там вот примус стоит, еще там чего-то, и, конечно, копать и все. Каждый вечер кончается... Вот день кончается тем, что она

разводит немножечко... Известка, там, с чем-то. И над плитой белит, чтобы все было белоснежно. Хотя это коммунальная квартира, но тем не менее. Вот так. И она шила на меня сама. Шила платья — это обязательно, там, оно выглаженное, накрахмаленное, здесь оборочки, там всякие, все это стоит. Я выйду во двор, а тут казаки-разбойники или что-нибудь. Через пару часов я как чушка. Прибегаю домой. Надо сказать, никогда по этому поводу... Что — «быстренько снимай». Значит, меня моют — морду или, там, больше, если надо, одевают в новое такое же накрахмаленное, наглаженное, со всеми оборочками — и опять выхожу. Опять прихожу чушкой. Опять все начинается. Вот так вот. Хотя она совсем... Она могла со мной очень строго, но это... Ну ребенок! Вот, но ребенок должен быть, значит, вот так вот. И, ну, там летом на лавочках сидят старушки, а у нас окна открыты. Я, конечно, слышу. Я слышу: «Иванна! Ты внучку балуешь! Ты внучку балуешь!» Бабушка отвечает... При этом она вяжет, чтобы все, как полагается. Она одна! Все сидят! Вот.



«Балую. А чего? Девочка — неизвестно, как ее судьба сложится. Может, у нее только детство такое будет. Так вот я ее побалую!»

Е. Г.: Молодец.

Л. А.: «Потому что я не знаю, как потом ее жизнь сложится». Вот так. Надо баловать, понимаете? Но это внучку. Насколько я понимаю, дочек не баловали. Это она к старости размягчилась. Вот, но... Поэтому я была... Я как-то себя, несмотря на то, что мы жили совсем небогато, я себя чувствовала какой-то принцессой, потому что по сравнению с другими... Как придет там, — у нее там, то у нее... Ей отец подставил, понимаете? То они все как приходят, так — как чушки, как есть, так целый день чушки, а я...

Ну и, конечно... Ну и отец, конечно. Я до сих пор вспоминаю. Я ему очень благодарна, потому что он очень много работал. Уезжал утром, приезжал вечером. И он, когда... У нас так вот было. Две комнаты. Значит, в проходной — я и бабушка, а в следующей — родители. И вот в проходной по эту сторону бабушкина постель, по эту сторону моя. И отец когда входит — если я не сплю еще... Обычно я уже в постели была, когда он приходил. Но если я еще не сплю, он садится ко мне на постель... И он же купил большую карту всего мира. Вот в величину моей кровати. Вот, и садится: «Ну, куда мы с тобой сегодня?» И я куда-нибудь ткну — и он начинает про это место рассказывать. Или, вот я помню, как-то я ткнула ему — Рейкьявик. Он мне говорит: «Ты знаешь, я ничего про это место не знаю. Я узнаю и тебе расскажу. Но, наверное, очень красивый город. Ведь смотри, как называется: Рейкьявик». И, когда я в 86-м году попала в Рейкьявик, я в самолете летела и вспоминала: «Наверное, очень красивый город — Рейкьявик». А приехала — такая скучная, ну, плоская, и город неинтересный совсем. Вот я вспомнила, как отец так: «Рейкьявик». И он мне... Вот он поехал в Ленинград на какую-то конференцию в командировку. Приезжает через несколько дней, значит, и мне в подарок привозит роскошное издание книги Кипплинга «Маугли» — с рисунками, красивая такая, большая. Вообще как-то он очень... Ну вот как-то... Вот когда мне было десять лет... А он мне все время какие-то книжки притаскивал. Вот тогда же не было... Тогда очень трудно было достать, в магазинах ничего не было. Как он доставал, где, я не знаю. Но он приносил мне книжки. Вот принес книжку, я помню... Называется «История доисторического мальчика Крека». Это про то, как люди, которые жили в пещерах... Вот, там огонь, потом у них огонь там... Кто-то там, как-то там огонь пропал. Там надо было его восстанавливать. В общем, я прочла прямо с упоением и потом спрашиваю у отца, говорю: «Пап, а вот откуда знают, как эти люди жили? Ведь они же писать не писали. Значит, они ничего не оставили. Откуда люди узнали, как они жили?» А он мне говорит: «Ты знаешь, есть такая специальность — археологи. Вот они выкапывают...» А я до этого собиралась — я балериной стану. Я очень любила, там, танцевать что-то все время выкозюливалась. Как только я сказала, что я хочу быть балериной... Не думаю, что такой восторг это вызвало у моих родителей, но там, в Останкино, они нашли какую-то балерину, которая уже не танцевала и у которой был кружок. Было там что-то... Четверо или пять девочек. И вот она нас учила. У нее станок был, и мы у станка вот это... Упражнения. Она учила нас вот именно балетным танцам. Вот в десять лет я сказала: «Я хочу быть археологом». Он мне стал таскать книги по истории. То есть он очень каждый раз всерьез относился к моим, в общем, вполне таким, ну, может быть, и случайным желаниям. Он очень серьезно относился, и это именно отец. Потом я помню еще, когда в школу пошла. Ну, я уже там, я умела уже читать, считать там, все это я умела, поэтому все это было хорошо, но вот мы тогда писали в тетрадках с косыми линейками, надо было писать ручкой и с нажимом там, а вот этого я не умела. Этому меня не учили. И тут у меня было несчастье, потому что получалось, что я так нажму, что страницу продырявлю или кляксу поставлю. В общем, короче говоря, в первом и втором классе у меня были с чистопоисанием проблемы. Я уж не помню там, тройки или что, ну, в общем, ничего хорошего. И отец, по-видимому, огорчился, потому что думал, что я у него такая гениальная, я буду хорошо очень там. Но надо сказать, меня никогда не ругали за это. А бабушка сидела около меня и упорно мне говорила: «Ну вот давай пиши, вот здесь с нажимом и так далее». К третьему классу я это все учла, и третий класс я окончила на пятерки и потом стала такой типичной пятерочницей. Вот так. И отец, который меня не ругал до этого за то, что не так, но, по-видимому, огорчился, потому что я еще в третьем классе играла в куклы, и отца это очень огорчало. «Ну что ты в куклы играешь? Ты уже большая девочка!» А я любила. А когда я пришла, вот принесла, что у меня все пятерки, отец принес мне в подарок куклу — фарфоровую, с закрывающимися глазами, с ресницами. В общем... Кстати сказать, я ее не любила. У меня был любимый такой голыш, которого мы на рынке с бабушкой купили. Потому что я любила маленьких детей. Вот я, по-моему, спать клала там... Ну, в общем, как с ребенком. А эта <нрзб> была такая — ну как Барби. Вот, но, хотя он не любил, что я играла в куклы, но за то, что я отличница, он мне куклу... И потом — это было, конечно, очень сильное впечатление детства — в 37-м году разрешили елки. До этого же нельзя было. Ну, разрешили — разрешили, но ничего ж нету! Никто не умеет, и вообще...

Елка в 1937 году. Подарки отца

Е. Г.: То есть вы до этого Новый год не праздновали?

Л. А.: Я не помню. Но елок не было. А в 37-м году сказали — елки. И вот на два барака, набитых детьми, я была единственная девочка, у которой была елка в 37-м году уже. Потому что отец достал машину, поехал за город, срубил елку, потому что не продавали елок. Разрешить разрешили, но надо же было наладить продажу. В 37-м году не продавали. Так вот,

он привез из леса хорошенькую пушистую елочку, и в этом своем Центросоюзе, наверно, или я не знаю, где, но он принес коробку такую, картонную коробку с игрушками елочными. Там такие стеклянные шары и так далее. Но их мало было, конечно, на эту елку, но мы с бабушкой... Бабушка вспомнила, и мы с ней сидели заранее, готовили игрушки. Вот делали такие фигурки, обматывали их... Ну, например, зайчик, да? Там нарисуем как-нибудь зайчика, вырежем из картона, потом обматываем его ватой и потом опускаем в воду с сахарным сиропом, чтобы она блестела. И, когда он высохнет, мы, значит, ниточку — и на елку. Это была единственная елка на весь двор, и пригласили всю детвору. С трудом в комнату уместились. Значит, от маленьких и до больших все пришли с вот такими глазами — елка! И отец где-то у кого-то достал тулуп с белой шерстью и тут бороду из ваты приклеил. В общем, мы тут играем, и вдруг стук в дверь. Бабушка: «Пойди посмотри, кто там!» Мы открываем дверь: Ах, Дед Мороз! Ну, мне уже было десять лет. Я понимала, что это никакой не Дед Мороз, но я думала: «Кто же это такой?» И отец вытаскивал из мешка и дарил всем какую-то там, я не знаю, шоколадку там, ну, ерунду какую-то, а я все думала: «Кто же это такой?» Потому что вот одежда была — я такой никогда не видела. Где-то раздобыл. Но было очень жарко во всем этом, в тулупе, в валенках, с этой бородой, и уже под самый конец, когда он там выдавал какой-то подарок... Да, и он голос менял, чтобы не узнать. Но он сделал рукой какой-то жест, по которому я поняла, что это папа. Но к самому концу только. Вот мне восемьдесят девять лет, и я помню и очень благодарна ему за это. И потом еще я помню... Ну вот у меня 20 июля день рождения. Летом. Ну, мы где-то. Я с бабушкой возвращаюсь из Крыма. Это мы были не в Евпатории, а ездили к ее друзьям в Феодосию. Возвращаемся мы. Приезжаем домой. Но днем их нету. Они на работе. Бабушка открывает ключом дверь. Мы заходим, и стоит папино кресло от письменного стола. Здесь сидит какой-то мужик, положив руку на велосипед. Это он мне подарил велосипед. Тогда тоже надо было... Велосипеды собирали в Харькове. Это он... С завода прислали просто набор, и кто-то ему собирал это. Потому что вот пойти в магазин и купить велосипед было невозможно. Да, причем это был женский велосипед. Можно было... Мы же тогда в брюках не ходили. Это женский велосипед, чтоб я могла кататься. Но взрослый такой уже, двухколесный. Так он соорудил, как будто почтальон, в форме такой сидит он, и такой велосипед.

Е. Г.: Замечательно.

Л. А.: Он все это выдумывал, понимаете, возился с этим. Притом, что он был и так занятый человек, столько работы. Вот, ему все это...

Е. Г.: Любил вас очень!

Л. А.: Во-первых, а во-вторых, выдумывал, понимаете, вот не просто любил. А ведь мама тоже любила. А вот он чего-то все время придумывал. И потом еще один раз, я помню, это мы уже здесь жили. Зимой чего-то такое, я не помню. Мама или... Мама, по-моему. Или бабушка. Я не помню. В общем, сказали, что я обиделась. Я уже не помню, что. Это не ругань была, потому что никогда не ругались. Но вот что-то сказали, что я обиделась. Так я схватила пальто и вниз по лестнице. И отец побежал за мною. И я от него убегала. Это я очень хорошо помню. Я перебежала Садовое кольцо. Тогда это очень просто было. Никаких подземных переходов. Просто посмотришь — вот там одна машина. Добежишь до середины, посмотришь — там где-то другая. Вот, и я побежала на Арбат, и он бежал за мною. А я убегала. И я забежала во двор. А я же здесь все дворы-то знала. Он — нет, а я-то все знала. И я знала, что в этом дворе можно на заборе одну планку отвести и пролезть, а потом планку закрыть. Что я и сделала. И встала... А он зашел — нигде меня нету, забор целый. Он не понимает, куда я делась. Он пошел домой. Ну, я, конечно, замерзла и вскоре тоже пошла домой. А куда я денусь? Но я помню, как от отца убегала, а он за мной бежал, считая, что я обижена. Мне очень папы не хватало. Ну, давайте закончим сегодня.